Nous ne voulons pas nous trouver, mais nous perdre.

A. Finkelraut 2

Нарратив и наука. Рассказ и повествовательная норматив-ность. Социальное время как траектория столкновения нормы и «Я». Культурно-историческая функция и индивидуальное исполнение нарратива (гипотеза). Что такое норма? Норма в естественных науках. Норма в социально-гуманитарных науках. Свойства нарратива. Нарратив и смысловая коммуникация. Смысловая бомба. Нарратив как самовыражение. «Я» в исследовании и рассказе. Повествование и самость. Нарратив и свобода. Культурная норма самовыражения в нарративе. Культурно-историческое резюме.

В повествовании видят, прежде всего, работу художественного воображения, по-своему упорядоченного, но более свободного от правил, чем логическое рассуждение или практическое действие. Цель этой книги, напротив, — показать нормотворчество нарратива в качестве модельного текста в социально-биографических обстоятельствах

складывания повествовательных образцов, а также меры человека как способа поддержания человеческой идентичности с помощью рассказов в индивидуальной жизни, ис-тории и эволюции.

Мало сомнений в том, что сила нарратива не в доказательности и строгости. Но почему же в начале третьего тысячелетия древнюю способность рассказывать так настойчиво привлекают для устроения научной картины мира? Сегодня нарратив — популярнейший предмет социально-гуманитарного знания, однако «нарративный след» науки не только в этом. Повествование пробуется как метод исследования, и часть теоретиков уже приступила к переписыванию методологий и эпистемологий в поэтики и эстетики науки.

Основания этих занятий не очень определенны, поскольку мало понятно, как нарратив способен представлять (или заменять) науч-ность. До сих пор это качество познания олицетворяли эксперимент, сложное лабораторное оборудование, количественные методы обработки данных. Афоризм «Без математики нет науки» предостерегает профанов от вторжений в сложноорганизованное и труднодоступное хозяйство научной нормы, выверяемой специальными измерениями. Владение ею объединяет специалистов. Нарратив же общедоступен; его секреты принято искать в черновиках великих писателей, но ведь и каждый человек без особых наставлений способен рассказывать и понимать рассказ.

Намерения теоретиков и практиков нарратологического движения двойственны и разнонаправлены: с одной стороны, ассимилировать повествование в структуры научной доказательности, с другой — уподобить исследование рассказу; с одной стороны — ослабить гнет сциентизма, с другой — укрепить зашатавшиеся опоры рациональности.

Но в обоих случаях рассказ воспринимается как резерв — возможно, последний — нашего цивилизованного человеческого познания и, возможно, не только познания. Через рассказ наука пытается приобщиться к самовыражениям нашего «Я», а «Я» — участвовать во все более специальном и технически сложном познании информационного века. Моя цель — показать исторический диапазон той мыслительной нормы, которая позволяет уловить культурно-антропологическую мутацию, переживаемую нами ныне, воспользовавшись для этого гуманитарным диалектом науки — рациональным языком, временами прямо переходящим в повествование.

Рассказ представляет собой разновидность человеческого общения, закрепленную разными правилами речь. Следует провести различие между литературной и повествовательной нормами. Среди плохой литературы и нелитературы встречаются хорошие повествования. Повествовательная нормативность сводит долитературные (устно-фольклорные), литературные и паралитературные регулятивы. Главное требование к повествованию — определенная сюжетная связность и понятность. Хорошая же литература может быть и несюжетной, бессвязной, изобразительной, ассоциативной. Повествовательная норма-тивность — коммуникативно-социального происхождения, она определяет порядок словесного отношения между людьми. Отношение это может быть и непрямым, поэтому повествовательные регулятивы должны гарантировать сохранность человеческого контакта в пространстве и времени с помощью средств, которые подчинены этой цели. Повествовательная нормативность, следовательно, многослойна. Она охватывает: а) лингвистическую инфраструктуру нарратива; б) поэтику и риторику повествовательных жанров; в) порядок интерпретации текстов; г) социальные легитимирующие меры, прилагаемые к повествовательной продукции. Я сделаю упор на метанарративных регулятивах, именно их я буду называть наррадигмой в узком значении слова, хотя придется коснуться влияния социальных норм на литературно-жанровый слой и на лингвистические механизмы текста. В более широком значении слова наррадигма — это сам повествовательный образец, включающий все нормативные уровни. Такой подход, при котором ведущий уровень организации обозначает организованное им целое, достаточно употребителен. Например, так обозначается личность. Но требуется объяснить предпочтение, отдаваемое внешнему слою норм. Такой выбор принципиален и обусловлен стремлением найти «сверху» самую общую размерность повествования, которая бы и была отделена от повествовательного материала, и пронизывала все его слои, и несла специфический признак наррации. Указанную размерность удается найти в социально-событийном времени. На уровне языка время разбито грамматикой темпоральных форм; на уровне поэтики трансформируется в последовательность сюжета; при интерпретации служит порядком анализа по хронотопам. Укрупнение временной шкалы выводит нас на границу конкретных сюжетов, к историям социально нормированных нарраций, которые

расположены уже в «реальном» социальном времени и служат метарассказами о становлении повествовательной нормы. В отличие от календарных хронологий, социально-событийное время качественное. Точки на его оси — это случаи общественного овладения стихией повествовательного самовыражения. Свернутые в точки события времени-повествования дают пунктирную линию наррадигматики, развернутые — историю борьбы ин-дивидуальности с нормой. При этом оказывается, что «верхний», социально-нормативный, слой наррадигмы создан притяжением-отталкиванием «снизу», от анормативной индивидуальности. Сообщение между полюсами, находящимися за пределами самого словесно-текстуального материала, и организует собственно нарративные слои, которые оказываются средствами исторического приключения человеческого «Я». Указанное отношение строит культурно-историческую метатеорию нарратива, но также соединяет персонажную пару теоретического метанарратива, протекающего параллельно ученым выкладкам на правах theory as fiction (теории как вымысла). Так наука получает свою долю человеческого самовыражения, не оставляя жреческой обязанности возвещать объективные законы мироздания. Подчиняясь ритуалу исследовательской процедуры, я также сначала сформулирую сюжет в виде гипотезы об отношении между нормой и «Я» (индивидуальностью, самостью), а затем вернусь к определению этих понятий.

Проверка моей гипотезы происходит на стыке психологии и культурологии. Связывание культурно-исторической функции и ее психологического исполнения — достаточно привычная задача для исследований такого рода, но при этом обычно выбрасывается промежуточная часть — «ментальный инструментарий», «технологии», посредством которых культурный «верх» и психологический «низ» сообщаются. Я предполагаю нейтрализовать это обыкновение а) историко-генетическим подходом, который периодически меняет «верхнее» и «нижнее», «внешнее» и «внутреннее» местами вроде ленты Мебиуса, б) структурной моделью перехода, которая лишает разговоры о промежуточной служебности нарратива содержания и в) метанарративной деконструкцией ученых построений. (Всякий читатель может уловить, где заканчивается анализ и начинается бельсайнтистика1, тем более такой, который привык переходить от клинического анамнеза к мифам об Эросе и Танатосе, Аниме, Анимусе и т.д.). Эволюционно-исторический интеграл рассказывания сводит воедино бесконечное множество бесконечно малых — индивидуальных речений. При громадном тематическом разнообразии и, как правило, небольшой содержательности повседневных нарративов в сумме получается сюжет, называемый самовыражением. Видимо, его можно выявить чем-то подобным структуралистской обработке мифов. Однако мой прием состоит в историко-биографической циклизации индивидуальных нарративов. Можно предположить, что сочетание само- и выражения возникает из эгоцентрической маркировки коммуникативной позиции, с которой говорящие обращаются друг к другу. У

меня нет возможности экспериментально проверить данное утверждение. Для историко-биографического метода доступны такие интенсивности проявлений «позиционного эгоцентризма», которые находятся в пределах разрешающих возможностей письменной культуры. Например, заявления «я есть тот, кто я есть». С ними культура и работает, отбирая рассказы жизни наподобие эволюционных линий; здесь начало наррадигмы. Однако приведенная выше презентация библейского Бога — эталонная формула самости, она растворена в секуляризованных сюжетах по крупицам. Общество концентраты самовыражения социализует и нормирует. Вместо чистого «Я = Я» оно предлагает: «Я = господин, раб, мужчина, женщина, ребенок, русский, христианин, мусульманин и т.д.». Остается, правда, субъект предикации (Я — господин, раб, мужчина и т.д.). Но нарративно-дискурсивное позиционирование Я распространено гораздо шире, чем логическое. Оно недифинитивное, косвенное и, наверное, оттого столь повсеместное. По моему предположению, нарратив, взятый в исторической динамике наррадигмы, есть доводка эгоцентрического позиционирования до культурного эталона в сетях сюжетных линий и повествовательных инстанций путем определенного культурно-исторического опосредования человеческого опыта (в том числе и нормирования сюжетов самовыражения). Я полагаю, что достаточно описал гипотезу и могу переходить к определению по-нятий.

Норма есть правило, предписание. Говоря о норме, мы отвечаем на вопросы: кто предписал? кому? с какой целью? насколько жестко и обязательно? Поскольку всякое правило дано для исполнения человеку, то оно должно быть ему объяснено и оговорено в плане отношений нормодателя и исполнителя; это также входит в признаки нормы. Бросается в глаза отличие социальной нормативности от сферы природных закономерностей. Очевидно, что правила общественной жизни ввели сами люди, тогда как об установлениях природы мы говорим фигурально. Тем не менее, придется начинать с норм, которые «предписала природа». Исключить из рассмотрения естественные науки невозможно, поскольку они лидируют в использовании эталонов и разработке измерительной, количественной нормативности, оказывают громадное влияние на социально-гуманитарное знание.

Исследовательские нормы математического и экспериментального естествознания

сложны, изощренны и тщательно детализированы. Однако их социогенез долгое время находился в тени эпистемологических интересов, если вообще принимался во внимание. Это едва ли случайно. Не имея возможности и не считая себя компетентным рассматривать историю естествознания, я коснусь вопроса в той степени, в какой он имеет отношение к нормативности гуманитарного знания.

Классическое естествознание — синоним науки своего времени; прочие изыскания получали право считаться научными в той степени, в какой они прикасались к идеям и методам передовых исследований природы. Искания научной истины окружены ореолом, как ранее искания царства небесного, правила научной деятельности иногда более напоминают религиозную дисциплину, чем профессиональные инструкции. Естественно, что свести прогресс такого познания к составлению нормативов умственной деятельности затруднительно. Разве предположить, что инструкции продиктованы природой или другой столь же высокой инстанцией, а собственно норму оставить общественному бытию. В Новое время над учеными раскрыт защитный зонтик той высокой инстанции, которую они изучают и таким образом представляют. В то время как наука работает для общественного блага, ученому позволено быть не от мира сего. Выдвигались и предложения закрепить его статус в подобие позитивистского культа. Однако квазирелигия оказалась ненужной: определенная «экстерриториальность» и свобода от социальных оценок гарантирована науке иными способами.

Сферу социальной прескрипции в классическом естествознании заменяют (или подменяют), во-первых, философия законодательства природы и разума, во-вторых, метрология — теория и практика измерений. Этимология слова «норма» приводит нас к нехитрому предмету — наугольнику (лат. — norma), при помощи которого строитель держит прямую линию. Указанное устройство (и однотипный ему отвес) — заметная веха в создании регулярной измерительной процедуры. Другие эталоны прямо извлекаются из человеческой соматики и сенсорики. Шаги, стопы, локти, обхваты, переходы, крики и другие антропоморфные меры позволяют не только измерять вес, расстояние, площадь, но также посредством части антиципировать целое. Из строительных, землеустроительных, ирригационных и других практических приемов вырастает специфический способ связи человека с его окружением — представление

последнего в однородных единицах, а затем количественный метод познания. В этом прогрессе познания намечается асимметрия между целым и его частью. Строение создается и предвидится строителем, но созидаемая цель начинает превосходить частные навыки его созидателя. Тем более, когда вместо простых жилищ и столярных изделий появляются инженерные задачи. Телесные эталоны отрываются от реальных измерителей и становятся безликими счетными единицами. Практика и познание, разбирая тело человека на эталоны, ставят самого депозитора в подчинение целому, которое антиципируется измерительными процедурами. Хотя человек предоставляет для нормы свои соматические данности, в измерительной процедуре он оттеснен объективным миром на задний план. Измерительно-счетная норма (коммуникация и, если угодно, контракт психо-телесности и мира) заменена счетной единицей, которой кодируется целое. Телесность в единице умирает, фиксируемое лишается прерогативы жизненного самопроявления. В том направлении мысли, которое развивает новоевропейская наука, целое называется природой, мирозданием, реальностью, а в более скептических ее разновидностях это вещь в себе, ignorabimus. Проявления целого — объективные, природные, во всяком случае надчеловеческие, закономерности. Закон должен быть измерен, по крайней мере, обоснован скрупулезной фактологией, а мера — очищена от конкретности и ситуативности ее субстрата. Исследовательская дисциплина, подобно мистике, требует самоограничения, чтобы уступить человеческий голос Природе (вещи в себе, другой разновидности Иного), которая, как и Бог, особенно любит говорить на языке математики. Люди передают естествознанию свою анатомию и свою психосоматику под природный код, способности же разума — под объективные выводы и суждения, в которых мироздание манифестирует себя сущностно. Интересно, что параллельно с заменой антропоморфных единиц на «естественную» метрическую систему эталонируются и мыслительные способности. Поиски натуральной единицы интеллекта, подобной метру, завершились в начале XX в. появлением IQ, однако начались они много раньше, и путеводной нитью для них была идея исчислимости природного закона. Детерминизм Лапласа утверждал, что любое явление прошлого, настоящего и будущего доступно математике. Мироздание открывается в формулах и уравнениях. У человеческого интеллекта остается только привилегия выразить Иное. Количественная норма, венчая научную аскетику, запрещает исследователю всякое отклонение от процедуры, направленной на установление объективного порядка вещей. Измерение — случай обязательных, необсуждаемых норм. Здесь однозначное следование алгоритму можно обосновать технически, а с точки зрения высокой теории — принципом объективности, т.е. уподобления познания реальности. Природа как бы сама продиктовала систему единиц, и после того как исследователь выбрал код, ему остается следовать процедуре. Знаменитая в анналах науки история увольнения в 1798 г. ассистента Гринвичской обсерватории Д. Киннбрука за промедление на секунду с фиксацией наблюдаемого небесного объ-екта интересна обоснованием административного решения. Шеф провинившегося был уверен, что человеческая индивидуальность не дает права на погрешность против астрономической точности.

При такой связи измерения и закона, когда человеческому участнику предписаны только обязательные действия, само понятие нормы лишается смысла. Ведь отклонение от алгоритма приравнивается не к разбросу признака, а к его отсутствию. Вектор исследовательских действий направлен к Иному, противоположное же направление к Самости (т.е. к индивидуализации действий) полностью купировано. Поражение примитивного антропоморфизма означает, что психофизический участник отношения лишается возможности антиципировать целое (которое становится Иным) и должен искать место для самовыражения за пределами value-free науки. Перед тем, как последовать за ним, должен еще раз уточнить, что под Самостью я понимаю вектор непрерывного культурно-исторического поиска человеческой индивидуальности, а под Иным — направление усилий определить ее антипод. За этими словами не скрывается метафизических претензий, а только констатация фундаментального для человека разделения бытия на внешний мир и его собственное присутствие в этом мире, которое неизбежно выступает как отдельное человече-ское существование. «Я», «индивидуальность», «самость» с маленькой буквы обозначают сингуляризацию в отдельном человеке этой универсальной Самости.

Если истоки физической метрологии достаточно очевидны, то с ее социальными аналогами меньше ясности. Ведь здесь вместо наугольника, отвеса, аршина, локтя и т.д. — общественное и духовное существо, личность, а вместо домов, каналов, участков земли — человеческое общежитие. Между тем, достаточно полистать словари и справочники, чтобы убедиться: в современном словоупотреблении норма есть преимущественно явление социальной жизни, антропокультурная мера для определения человеческого качества общественно-исторических образований. Измерять социокультурное целое посредством человеческим признаков сложно, поскольку «счетная единица» имеет собственные интересы в деле и представления о нем, а также потому, что квантификация в большинстве случаев невозможна. Единица формируется в то же самое время, когда она «измеряет» целое, и даже самый жесткий, директивный нормировщик не может совершенно отказать ей в толковании происходящего. В итоге вместо прозрачного отношения мы получаем очень запутанные многозначные связи.

Истоки и мотивацию «социальной метрологии» евро¬пей¬ских народов приходится

искать в другом этимологическом материале, в греческих словах □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□, что означает соответственно «получать по жребию», «делить», «доля». Древние греки показывают нам, что на полюсе человеческой единицы процедура социального измерения воспринимается как выделение и ожидание доли (в латинском языке — квоты). Было у них и представление о том, как осуществляется раздел. Мойра — это не только полученная часть, но и богиня судьбы, определявшая жребий человека. Высшие резоны небесной мерологии от человека скрыты, ему приходится довольствоваться своей участью. От этих мифологических представлений не столь уж далеко до нормативно-квотного принципа, на котором основано отношение индивида с культурно-социальными образованиями. Правда, фигуры мойр заменяются абстракциями социальных систем и общностей. В них человек присутствует как участник коллективного дела и пользователь его результатов, подлежащий отрегулированию в плане вклада и получения своей доли. Переход от мифов Эллады к современной нормативности охватывает 2,5 тысячелетия и не может быть здесь рассмотрен даже в самых общих чертах. Единственное, на что я хочу указать, так это на мифологический архетип принципа, который прослеживается в современных трактовках нормы.

Определить повествовательную норму непросто. Очевидно, что она имеет отношение и к метрологии, и к мерологии (в упомянутых мной выше смыслах). Этнологи, лингвисты, литературоведы, изучая строение мифа, эпоса, романа и других нарративов, редко говорят о «повествовании вообще» и тем более о какой-то особой повествовательной норме. На роль науки о повествовании претендует нарратология, но она молода, раздроблена на конкурирующие течения и, к тому же, скована постмодернистской неприязнью к широким обобщениям. Приходится обращаться к областям знания, имеющим более четкое представление о своем предмете.

Следует помнить, что мера указанной четкости современного (классического) знания о человеке зависит от вклада в его теоретико-методологические основания принципов философского реализма (как объективно-идеалистического, так и диалектико-материалистического) и естественнонаучного эмпиризма. Пересекаясь, указанные традиции позволяли определить объект социально-гуманитарного познания как нечто, действующее по собственным законам и подлежащее познанию со стороны

исследователя. Что же касается других традиций, то им науки о человеке обязаны, скорее, установлением субъективной меры участия индивида в коллективном достоянии, восходящей к архаическим прототипам доли и судьбы. А чем ближе баланс прав и обязанностей к насущным потребностям человека, тем меньше веры в объективность расчета. Измерительная норма тяготеет к сфере естественнонаучной процедуры и временами становится синонимом объективной закономерности. Обязательность нормы-квоты имеет социально-легитимирующий, властный, иногда грубо принудительный, произвольный и даже абсурдный характер (как обязательное добавление в пищу кала в повести В. Сорокина «Норма»). Но там, где речь не идет о пайковом минимуме, норма-квота склонна вуалироваться под объективность научного расчета.

В социальных науках законы менее универсальны и математизированы, чем в естественных, а главное, их труднее выдать за объективные истины. Общественная жизнь — царство человеческих установлений, норм. Однако под влиянием естествознания социально-гуманитарные дисциплины склонны представлять свои предметы наподобие натуральных явлений. В лингвистике, юриспруденции, социологии, социальной психологии и других социально-гуманитарных науках норма как антропокультурная мера социально-исторических образований по большей части противопоставляется более или менее консолидированной системе этих образований. Последняя есть макси-мальное расширение данной предметной области и устойчивое целое конституирующих ее правил; подчеркивая объективный характер действующих в социокультурном образовании закономерностей, традиционная методология тем самым сближает его с природной системой. Мы можем называть сферу указанных закономерностей нормативной, понимая под этим то, что она доминирует над разными способами человеческого участия в ней. При таком обозначении норма будет синонимом закона. Что же касается собственно нормы — антропокультурной нормативности — то она дает поправку на социальную, культурную, этническую, психологическую и всякую другую дифференцированность человечества; этой «норме участия» допускается лишь скользить по поверхности природоподобных монолитов, не проникая в глубь. Так, например, склонно судить о своем объекте взращенное на гумбольдтианском реализме и структурной лингвистике языкознание.

Поэтому «в системе, разработанной Соссюром и надолго определившей направление семиотической мысли, очевидно предпочтение исследованиям языка, а не речи, структуры кода, а не текста. Речь и ее отграниченная артикулированная ипостась — текст — интересуют лингвиста лишь как сырой материал, манифестация языковой структуры. Все, что релевантно в речи (resp. тексте), дано в языке (resp. коде). Элементы, присутствующие в тексте, но не имеющие соответствия в коде, носителями смысла не являются. Этому соответствует решительное заявление Соссюра: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности». Принять язык за норму означает сделать его точкой научного отсчета в определении существенного и несущественного для неязыковой деятельности. Естественно, что все, не имеющее соответствия в языке (коде), при дешифровке сообщения «снимается». После того, как из руды речи выплавлен металл языковой структуры, остается только шлак. Именно в этом смысле наука о языке может обойтись без анализа речи» [4, с. 11].

От того, произнесем ли мы слова «молодежь», «портфель», «компас» с ударением на первом или последнем слоге, значение и понимание слов не пострадает. Это случится, если мы не выполним фонематических требований противопоставления звуков. По ударению же возможно определить образовательный, профессиональный, иной социальный статус говорящего. Столь же несущественно для понимания речи, произносится ли шипящая «ж» в словах «уезжать», «дождь» твердо или мягко. Признаки эти для лингвистики «внесистемные». Такие не имеющие смыслоразличительного характера особенности произношения, по мнению языковедов, принимающих теорию Э. Косериу, «несущественны для общения, не несут никакой коммуникативной нагрузки. Поэтому-то в языковой практике и возникает проблема нормализации, по существу своему внеязыковая и обычно решаемая либо статистическим путем, либо путем апелляции к тому или иному языковому авторитету» [3, с. 47]. Можно, если угодно, назвать указанную вариативность в использовании системы нормой, но при этом желательно отделить языковую систему от сферы экстралингвистических регулятивов.

Напротив, в американской лингвистике номиналистского толка упор делается на

индивида или группу. Нормативное использование языка открывает богатейшую сферу социальной, территориальной, профессиональной и т.д. дифференциации языковых практик, что является предметом социальной лингвистики. При взгляде «снизу» единое поле языка оказывается взорванным кишением диалектов, социолектов, идиолектов. Переплетение норм, их флуктуация и движение оказываются здесь главным. Однако сама норма производна от законов поведения, групповой динамики или индивидуального строения психики. Указанные сферы замещают фонологию или семиотику в качестве носителей объективного начала vs. вариативности культуропользования.

(продолжение статьи здесь)